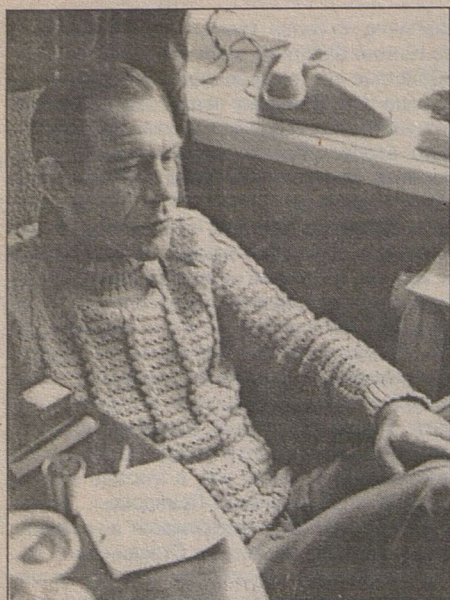




Юлий Даниэль в Калуге
через неделю после освобождения.

Однажды он проснулся знаменитым

15 ноября исполнилось 75 лет
со дня рождения Юлия Даниэля

дельно взятом случае хотелось бы считать такой иголкой слово.

Как написал Синявский уже во Франции — слово в советской России ценится по-настоящему, потому что оплачено кровью. Оно, конечно, в конкретном случае гипербола: не к стенке же их поставили, как о том мечтал Шолохов, а только лишь: а) осудили, б) посадили, в) оклеветали.

Последнее было приложением обязательным, а как иначе? Они же первые, как писали в газетах, родину оклеветали.

— Так это ты, что ли, на родину клеветал? — спросили его уголовники на пересылке.

— Да нет, не было этого. — Дак почему же не было! Что ж ты (...) про нее (...) правду не сказал, когда мог (...)?

Пожалуй, несмотря на избыточную экспрессивность, это был по существу правильный вопрос.

Следовало разобраться, что это за страна, в которой кто-то догадал нас родиться, и кто собственно мы, ее дети.

Но мы были еще и дети 60-х, разумею наш, не побоюсь утверждать, был разбужен в одно и то же время. Когда прошел знаменательный съезд партии. На нем произошло невероятное. Лучшее всего о невероятном сказал Галич:

Кум откушал огурец
И промолвил с мукою:
Оказался наш отец
Не отцом, а суккою.

Партийное письмо с разоблачением культа личности спускали по инстанциям. Дошло до школ. В школе, где Даниэль преподавал русскую словесность, на педсовете это верховное письмо поручили читать ему, потому что голос хороший. Он потом говорил, что этот свой голос он снижал, читая, потому что невероятно было читать такое громко.

А уж он-то трусом сроду не был. Фронт прошел, солдатом был и, что еще почище, в Москве поздним вечером защитил незнакомую девушку от шпаны. Не он о том рассказывал, а приятель, они вместе шли по темному переулку.

А тут — голос сам собой понижался. Инерция тогдашнего бытия. Это было у нас в крови. Нужно было менять состав собственной крови.

Думаю, этим Юлий и занялся тогда. Не забывая при этом жить на всю катушку: радоваться жизни он умел, пожалуй, как никто другой.

И не в том дело, что Синявский, друг любимый, соблазнил его предаться тайнописи опасной прозы. Необходимо было самому постичь, что происходит с тобою и кто ты есть, если уже не «винтик» государственной машины, как оно прежде определялось начальством.

Говорят, это и есть проявление экзистенциализма — на Западе о том было много шума, у нас же еще и привычки к тому не было. В том вижу некое общее космическое колебание, предпославшее единице, называемой «человек», осознать себя и о себе задуматься. Юлий Даниэль этим и занялся в своей заведомо преступной прозе, поскольку в советские времена сам факт обдумывания этого вопроса был по определению преступным.

В изменившемся климате отечества нам, каждому в отдельности, предстояло или старинные заповеди

вспомнить, или свои новые изобрести. Тем более что Россия — страна изобретателей.

Хорошо было библейским предкам Юлия: заповеди им выданы были из авторитетного и надежного источника, на них можно было положиться, и

ным», как позже скажет Войнович, но ведь приблизительно о том же.

Этот самый герой Даниэля, авторизованный до автопортрета или до группового «всехнего» портрета, с чистой совестью нарушал заповедь «не возжелай жену ближнего», воз-



Даниэль и Синявский на суде. Февраль 1966.

они положились, хоть и нарушали на каждом шагу.

Герой прозы Даниэля отнюдь не без греха: люди ведь мы, а не серафимы. Многие можно себе позволить, так сказать, на бытовом уровне, но чего-то нельзя, и — стоп. Кончается здесь бытовой уровень. И дышит почва и судьба. И сам пойми, в чем тут дело. Тем более что твоя личность выбирается из повиновения моральному кодексу строителя коммунизма, никому более не подчиняется, и — твори, что пожелаешь твоя душа, отпущенная по направлению к вольной воле.

Герой его прозы — это мы или один из нас, поставленный в экстремальные условия. Наш сверстник в преддверии объявленного государственного праздника «День открытых убийств».

До сообщения об этом празднике Смерти все было хорошо, совсем хорошо, а бытовые неувязки не в счет, главное, чтобы человек знал: жизнь, ему доставшаяся, — прекрасная штука. И женщины его любили. Я их понимаю. А как хороши были наши компании! И розы, на них никогда не было денег, и голубые фонтаны, которых мы в глаза не видели, а лишь потом прочли у Юнны Мориц.

Тот праздник убийств, объявленный своевременно, все испортил. Хотя, с другой стороны, спасибо государству: именно благодаря ему наш герой задумался о жизни и о себе самом. Как почти все мы в ту пору, был он славный малый и в сущности дикий человек, не эллин, и не иудей, и уже не советский человек, а неожиданное дитя «оттепели». Христианином не стал, Библию не читал.

Тут я сгоряча допустила перебор: Библию-то Даниэль как раз прочел, нашел во дворе, на мусорном ящике, гуляя поутру с собакой, и находкой дорожил до смерти. Но, думаю, вряд ли именно Библия определила движение его размышлений, переданных из рук в руки, с большой головы на здоровую, герою его первой повести «Говорит Москва».

То был самостоятельный путь мысли. Самостоятельный, но не единственный — перечитайте прозу 60-х: каждый самоопределяется как умеет, потому что «хочу быть чест-

желал и о том не собирался сожалеть. А что касалось осла ближнего или вола, о том вообще не было и быть не могло никакой речи, хотя бы потому, что бедны все были и не завистливы, и не об осле мечтали, а озабочены были, хватит ли на бутылку коньяка.

Но одна заповедь нуждалась в напряженном размышлении: не убий.

«Давай убьем Павлика», — сказала его возлюбленная (или не возлюбленная? Не помню, как это тогда называлось).

Давай убьем мужа в День открытых убийств, когда это разрешается. Давай поженимся, давай будем счастливы. Рассуждение в духе леди Макбет Мценского уезда, да какой с них спрос, он эту свою леди, дуру эту, выгнал. Что было не в правилах джентльмена, каковым он был, а что прикажете делать?

Сам же остался думать, в чем тут дело. Врага, особенно ненавистного, убить допустимо, тем более солдат ведь пишет. Солдат и размышляет.

А вот Павлика этого, рононосца тупого, — нельзя.

Наверное, таким же образом, пользуясь конкретными примерами, составляли свод своих табу аборигены, приговаривая, что все это было во времена сновидений.

Если что не так, пусть антропологи поправят. Случайно я ступила на их территорию, а на самом деле моя территория — 1960-е, пространство и время, когда «говорила Москва».

Не помню сейчас, поносили ли мы тогда по российской привычке день, в котором живешь: «Бывали хуже времена, / Но не было подлей», — только, открывая прозу Юлия, ныне забытую, почти совсем забытую, всякий раз чувствую дыхание свежести, как форточку открыть. (Впрочем, он терпеть не мог открытых форточек.)

Еще он, человек терпимый и мягкий, не выносил слова, которым я здесь злоупотребляю, хотя и не прикреплю непосредственно к нему. Слово это — «герой», а он не разрешал называть себя героем, когда кое-кто пытался высказать сочувствие его столь необычной судьбе и восхищение столь непривычным мужеством. Еще, мол, чего: было —

прошло, и нечего об этом.

Полагаю, они были правы, но и он был прав.

Заслуга уметь жить со вкусом в конечном счете включает в свой состав то, что доброжелатели называли подвигом, а враждебные голоса — преступлением. Что касается философских краеугольных камней, вот бы он веселился тому, что философия помянута все рядом с ним. Он написал: «Там, Наверху, в небесах, наверное, или во всяком случае над землей играют в шахматы Добро и Зло. Белым и Черным».

Про кого это сказано: «Он верил в добро, но знал, что всегда побеждает зло?» — не помню. Во всяком случае к Юлию это относится, к Даниэлю.

Когда я говорю, что он забыт, я говорю меньше, чем положено. Может быть, потому что в таком отношении к известности, к славе и популярности сказались его школа — я тому у него научился, хотя он никого не поучал, просто так жил. Не принято у него было, чтобы не пройти испытание кнутом, а уж тем более недопустимо не выдержать испытание пряником популярности.

Но, может быть, потому не печалюсь сколько мне положено печалиться о людской забывчивости, что верю Цветаевой, тому, что забытым строкам приходит свой черед — стихи они или проза, неважно. Важно лишь, что они несут в себе Слово. Потому что слова, как раз слова литератора, оплаченные по-честному высоким напряжением энергий, подобны драгоценным винам, как Цветаева и написала.

В винах Юлий разбирался. А также знал, что хорошие, желательные драгоценные вина состоят в родстве с прекрасными стихами. Стихи он без памяти любил, считал себя в первую очередь переводчиком поэтов мира.

О его переводах тоже «забыли по-свински», как написал один хороший человек.

Однако поди знай, какой способ изобретет память, чтобы что-то сохранилось. Чтобы в культуре не стерлось имя литератора Даниэля.

В Киеве при недавней реставрации Михайловского собора, разрушенного в войну, в стенах собора устроили музей. Там, под потолком и под стеклом, в рамочке, читата выписана, переведено на украинский: «Зруйнували храм... Висадили в повітря Бога, а вибуховою хвилею поранило, контузило людину».

Подпись: Ю. Даниэль.

Да будет заслужен тобою Покой, Юлик.

Но как бы ты был изумлен, друг мой, когда б узнал, что только ни соединилось воедино в этой точке на киевском склоне, в голубом, до невозможности голубом соборе. Христианство, которое ты чтил как всякое высокое проявление культуры. Но чтобы собор...

Сын Марка Даниэля, еврейского писателя, некогда известного в Киеве тем, кто читал на идише, и тоже забытого по разным причинам. То было поколение интернационалистов, несмотря на идиш, и поколение атеистов.

Но чтобы имя «Даниэль» — и православный собор...

Что-то шевелится у меня в душе, когда я оказываюсь в Киеве в том месте, будто за пазухой возится спящий котенок. Иначе не скажу. Я научилась у Юлия многого не бояться, но не бояться сантиментов он меня не учил.

Эта самая цитата, любовно хранимая в музее Михайловского дома Божия, несет в себе забытый признак диссидентства. Хотя Юлий диссидентом, я думаю, не был. Диссидент — это инкомыслящий. А он просто, как написано в его прозе, однажды сел за стол и принялся думать. Было ему тогда тридцать пять лет.

Он умер в 1988-м.

Сегодня Юлию Даниэлю было бы семьдесят пять.

ИРИНА УВАРОВА-ДАНИЭЛЬ
Москва